Знак беды

Автор:
Василий Быков

Знак беды

Василий Владимирович Быков

Осень сорок первого. Степанида и Петрок Богатька живут на хуторе Яхимовщина, в трех километрах от местечка Выселки. К ним-то и приводят полицаи вошедших в близлежащее село немцев. Мягкий по натуре Петрок поначалу всеми силами стремится избежать конфликтов с фашистами, надеясь, что все обойдется миром. Однако Степанида понимает, что в дом пришла беда. С первых же минут гитлеровцы ощущают молчаливое презрение хозяйки дома, ее явное нежелание хоть в чем-нибудь угождать...

Василь Быков

Знак беды

Время и люди не много оставили от некогда раскинувшейся здесь просторной хуторской усадьбы. Лишь кое-где останки ее выглядывали на поверхность угловым камнем фундамента, осевшим бугром кирпича да двумя каменными ступеньками возле бывшего входа в сени. Припорожные эти камни покоились на том самом месте, что и много лет назад, и мелкие рыжие муравьи, где-то поблизости облюбовавшие себе жилище, деловито сновали по нижней, вросшей в землю ступеньке. Овражный ольшаник, потеснив хуторское поле, подступил вплотную к двору; на месте истопки царственно разросся густой куст шиповника в окружении зарослей лопухов, крапивы, малинника. От колодца ничего не осталось, сруб гнил, или, возможно, его разорили люди, вода, оказавшись без надобности, иссякла, ушла в глубь земли. На месте стоявшей здесь хаты тянулась из сорняков к свету колючая груша-дичка – может, непотребный

отпрыск некогда росших здесь груш-спасовок, а может, случайная самосейка, занесенная из леса птицами.

С дороги, от большака мало что указывало на бывшую усадьбу, разве одна из двух лип, некогда красовавшихся возле хуторских ворот. Другой не было и в помине, да и оставшаяся являла собой жалкое зрелище: опаленная и однобокая, с толстым уродливым стволом, прогнившая корявою щелью-дуплом, она непонятно как удерживала несколько мощных сучьев. Прилетавшие из леса птицы почему-то никогда не садились на ее ветвях, предпочитая рослый ольшаник поблизости. Вороны, возможно, помнили что-то, а может, своим древним инстинктом чуяли в изуродованном дереве дух несчастья, знак давней беды. Этот роковой знак лежал здесь на всем: на истлевших остатках усадьбы, блаженствующих на приволье зарослях сорняков и малины, на самодовольной неприступности колючего шиповника и даже изогнутой груше-дичке. И только тоненькая молодая рябинка, недавно выбросившая на свет считанные листочки посередине заросшего травой подворья, в дерзкой своей беззащитности казалась гостьей из иного мира, воплощением надежды и другой, неведомой жизни.

Наверно, все остальное принадлежало здесь прошлому, покоренному тленом и небытием.

Все, кроме неподвластной времени всеохватной человеческой памяти, наделенной извечной способностью превращать прошлое в нынешнее, связывать настоящее с будущим…

1

С терпеливой ненасытностью корова щипала влажную с ночи траву, неторопливо двигаясь исхоженным своим маршрутом: вдоль большака, по заросшей бурьяном канаве, краем дорожной насыпи, через травянистую лощину с гладким, будто откормленный кабан, валуном и дальше, к опушке леса, широкой дугой охватившей пригорок с хутором. Степанида знала, что на опушке корова повернет в сторону Бараньего Лога и там, в ольшанике, надо будет смотреть за ней строже, чтобы не шмыгнула куда-нибудь долой с глаз. Бобовка была корова проворная и хотя пестрая – белые пятна на черном, – но уж если

куда запропастится, то побегаешь по кустарникам. Однако это там, на опушке, тут же деваться ей было некуда – невысокая насыпь дороги да голое картофельное поле, тут можно и посидеть в покое. И Степанида, прислонясь бедром к округлому боку валуна, плотнее составила на земле босые ноги, изредка поглядывая на свою Бобовку.

Было не холодно, хотя и зябковато ногам в мокрой от росы траве и ветрено. Небо сплошь устилали набрякшие дождем облака, солнце с утра не показывалось; серый неприютный простор полнился неумолчным шорохом ветра в поле, невольно хотелось отвернуться от него, плотнее закутаться в ватник, не двигаться. Рядом на большаке, как всегда в эти дни, было пустынно и тихо, теперь тут мало ходили и никто уже не ездил. Если и появлялся редкий прохожий, то чаще с утра – какая-нибудь женщина из ближней деревни торопливо пробежит в местечко, обратно появится она только к вечеру. Эта устоявшаяся заброшенность дороги угнетала Степаниду, особенно после того, как недавно еще все тут ревело и стонало от машин, подвод, лошадей, бесчисленных колонн войск, денно и нощно тянувшихся на восток. Казалось, великому тому шествию не будет конца, а с ним не кончится и тревожная суета на хуторе. Известное дело, придорожная усадьба: какая надобность ни случись – у всех на глазах. Степанида с Петроком сбились с ног, встречая и провожая каждого, кто заезжал, забегал, останавливался, чтобы переобуться, напиться, передохнуть в зной под липами, покормить лошадей, перекусить самому, расспросить о дороге. Правда, однажды под вечер на большаке стало свободнее, движение заметно спало, готовое совсем прекратиться, машины уже не ехали, а строй красноармейцев, свернув с дороги, цепью рассыпался по картошке. Два командира, заехавшие на хутор, что-то долго рассматривали на карте; их боец-коновод попросил ведро напоить лошадей и сказал, что тут будет бой, оставаться на хуторе опасно. Испугавшись, Степанида накинула веревку на рога коровы и кустарниками подалась в Бараний Лог. На хуторе остался Петрок – усадьбу не годилось оставлять без присмотра. Натерпевшись немало страха, она просидела в березнячке ночь и половину следующего дня. После полудня загудели самолеты, тотчас содрогнулась земля, где-то забахало, застучало, и в небе за логом встал сизый столб дыма. Постепенно оправившись от испуга, Степанида поняла, что это далеко, на большаке, а может, и того дальше, в местечке. Вскоре, однако, все стихло, будто и не начиналось вовсе. Некоторое время выждав, она боязливо потащилась с коровой к хутору, не надеясь найти его в целости, да и живого Петрока тоже. Но хутор как ни в чем не бывало спокойно стоял под липами невдалеке от дороги, а во дворе, выбравшись из погреба, похаживал с соломой в бороденке ее Петрок, и ветер доносил из-за тына знакомый дымок его самокрутки.

В ту ночь красноармейцы оставили на картофельном пригорке недокопанную траншею и куда-то ушли стороной; на большаке все опустело, заглохло, наутро редкие военные повозки поворачивали обратно, в объезд на Кульбаки – за сосняком самолеты разбомбили мост через болотистую Деревянку и проехать в местечко большаком было уже невозможно.

Настала новая, страшная в своей непривычности жизнь под немцем, которая постепенно, с неотвратимой настойчивостью утверждалась в районе. Началось с того, что в Выселках распустили колхоз, разобрали небогатое его имущество, инвентарь, лошадей, и Степанида послала Петрока за своей когда-то обобществленной кобылой. Но кобылы в колхозе не оказалось – накануне прихода немцев отправили подростка с подводой на станцию, откуда он так и не вернулся. Она накричала на Петрока, потому что, если такое случилось, надо было взять какую-либо другую лошадь – как же в хозяйстве без лошади? Как тогда жить? Но этот старый недоумок Петрок, разве он что сделает как следует? Только знает одно – молча дымить вонючей своей махоркой. И теперь вот живи как хочешь. Хорошо еще, что осталась Бобовка, на нее вся надежда, она пока что кормит обоих. А что будет дальше?

Бобовке тем временем, наверное, наскучило пастись на жестком придорожном откосе, и она взобралась повыше, на обочину большака. Степанида поднялась с камня – зачем позволять корове высовываться из-за насыпи, мало ли что может случиться, еще кому попадет на глаза. Правда, за эти два месяца жизни под немцем она поняла, что ото всего не устережешься, как ни скрывайся, а если они захотят, то найдут. Тем более что у немцев выискались уже и помощники из местных, полицаи, которые всех тут знают наперечет. На прошлой неделе повесили двух коммунистов на площади, один из них был директором школы, в которой учились ее Фенька с Федькой. Там же, в местечке, на стенах домов и заборах белели их объявления с обещанием суровой расправы с каждым за ослушание, неподчинение, тем более за сопротивление немецким властям.

Степанида поднялась на дорожный откос, хворостиной легонько стеганула по заду Бобовку, и та не заставила себя ждать, степенно ступая, послушно сошла в канаву. Конечно, трава тут была не очень съедобная – бурьян да осот, – но как-нибудь напасется за день. Степанида немного постояла на большаке, оглядывая с насыпи знакомое до мельчайших подробностей хуторское поле. Минуло десять лет, как оно перестало принадлежать ей с Петроком, стало колхозным, но чье будет теперь? Вряд ли немцы отдадут землю крестьянам, наверно же, знают, что если из рук выпустишь, то обратно не ухватишь. Какая она ни есть, эта

земелька, этот проклятый богом пригорок по прозванию Голгофа, а вот жаль его, как матери жалко пусть и больного, единственного своего ребенка. Сколько тут выходили ее немолодые ноги, переделали работы ее изнуренные руки! Сколько лет они с Петроком тут пахали, сеяли, жали, раскидывали навоз и мельчили глиняные комья, особенно там, на суглинке. К той же нехитрой крестьянской работе со временем приобщился и Федя. Феня же захотела учиться и уехала в Минск. Где теперь ее дети? Феня так, может, еще и жива, если посчастливилось вовремя уйти на восток, и теперь где-то в России. А Федька? Как пошел осенью в армию, за зиму прислал три письма из Латвии, только начинал свою службу на танках, и тут война! Где он, жив ли хотя?

Сквозь узкий разрыв в облаках прорезалось солнце, и нежданным холодным светом озарилась земля. Печальный осенний простор сразу утратил свой унылый вид, будто заулыбался навстречу желанной солнечной ласке. Освещенные косыми лучами, четко обозначились на земле огороды, сады и постройки Слободских Выселок, длинным рядом растянувшихся по задорожному пригорку, поодаль засинела зубчатая стена елового леса, а ближе и правее весело закурчавилась на склоне чаща молодого сосняка, прорезанная узкой лентой дороги. В стороне от нее за полем отбросила длинные тени хуторская усадьба под мощными кронами двух старых лип. Это была ее Яхимовщина. Степанида всмотрелась пристальнее, стараясь разглядеть там Петрока, узнать, чем занят старик. Выгоняя утром корову, она наказывала кое-что сделать по дому, а главное – утеплить и закидать землей картофельный бурт в огороде. Петрока, однако, там не было видно, да и солнце вскоре скрылось за тучами, хуторское поле нахмурилось, помрачнело, и она так и не успела что-либо рассмотреть на подворье.

Степанида спустилась с насыпи – зачем торчать без нужды на дороге – и помалу пошла за коровой.

Она далеко уже отошла от камня, было рукой подать до лесной опушки, и вдруг услышала голос из-за дороги. Подняв голову, вслушалась, но тревога ее исчезла, как только на дорожной насыпи появился вертлявый Рудька. Выскочив на обочину, песик сразу же замер, также узнав женщину, и обрадованно завилял хвостом. По ветру снова донесся сдавленный гортанный вскрик, и Степанида поняла, что это Янка из Выселок пасет свое стадо по ту сторону дороги, как она Бобовку по эту. Он и в самом деле появился за Рудькой на насыпи, длинноногий подросток в забранной в штаны темной сорочке, с кнутом в руках. Степанида нередко встречала его на этом придорожном поле или в кустарнике все с теми

же четырьмя коровами, и всегда от жалости к нему сжималось ее сердце – такой он был худой, недосмотренный, в ветхих штанах, подпоясанных обрывком веревки, и всегда босой. С тревожным недоумением он всмотрелся в ее лицо, будто хотел и не мог понять чего-то, иногда тщился что-то сказать на непонятном ей языке рук и резких гортанных звуков, временами пугавших ее своей неожиданностью. Иногда она старалась что-то сообщить ему, но он отвечал все теми же гортанными вскриками, и она не знала, понял ли он что-нибудь. Но картошку или кусок хлеба с салом, которые она протягивала ему, брал сразу и, приткнувшись где-нибудь на меже, съедал все до крошки. Похоже, частенько он бегал голодным – понятно, жил не у родной матери, а у дальних деревенских родственников и с весны пас скот за кое-какое питание и ночлег под крышей.

Пастушок между тем окинул взглядом свое небольшое стадо, хлестнул кнутом в воздухе и, подойдя к Степаниде, молча опустился на кромку дороги. Его обсыпанные болячками ноги до колен высунулись из холщовых штанов, руки он зябко сцепил на груди, съежился, оперся локтями о колени.

– Ы-ы, а-а-а! – попытался он что-то сказать. – А-э-э!

Кто знает, какие мысли тревожили его, отчего вздрагивала нечесаная голова под мятой, со сломанным козырьком кепчонкой, что выражалось в его наивно раскрытых глазах? Степанида иногда подкидывала ему на полдня или утро Бобовку, если случалась такая надобность, и, возвращаясь в поле, старалась прихватить для него какой-либо гостинец – оладью, шкварку, горстку гороха или хотя бы спелое яблоко с дерева. Теперь же у нее ничего не было.

– Холодно, Яночка? Что же ты теплее одежку не взял? – сказала она с укором, вглядываясь в него снизу.

– А-а, э-э-э! – замычал он и махнул рукой.

– Такой ветер, продует, и заболеешь. Понимаешь, заболеешь, – пошлепала она себя по груди. – Иди одежку какую возьми! Одежду, потеплее чтоб!

Будто поняв что-то, Янка выскочил на дорогу, окинул взглядом свое небольшое стадо.

– А-а-а! У-а-а-а!

– Иди, иди! – сказала она. – Я погляжу. Погляжу! – повторила громче и показала рукой на его коров и свою Бобовку.

К ее удивлению, он что-то понял – легко, будто услышал. Сбежав с дороги, взмахом кнута завернул переднюю черную корову и бегом припустил к сосняку, возле которого виделся поворот с большака на Выселки. Рудька сначала побежал за подростком, но, будто вспомнив свою пастушью обязанность, вернулся и присел на обочине невдалеке от Степаниды.

– Рудька, Рудька, сюда! – позвала Степанида. Но Рудька только повел ушами, заботливо оглядывая стадо, спокойно пасущееся в канаве и на дорожном откосе. Это был, в общем, славный, хотя и хитроватый пес, он не шел к человеку, не завидев в его руках съестного.

Чтобы не разминуться с Янкиным стадом, Степанида перегнала на ту сторону большака Бобовку и сама осталась на насыпи. Отсюда ей хорошо видны были все коровы, ногам было удобнее ступать по сухой дорожной траве, но тут сильнее дул ветер, и она повернулась к нему спиной. В небе стремительно проносились нагромождения облаков, неизвестно, в каком месте там было солнце и как скоро настанет вечер. Но она чувствовала, что время давно перевалило за полдень, час-другой, и в поле начнет смеркаться. Раньше она любила и ждала такую вот пору дня, когда с полевой работы возвращалась на усадьбу, где собиралась семья. Разнообразные домашние хлопоты никогда ей не были в тягость, даже после утомительной работы в поле. Теперь же наступление вечера ее мало радовало, не влекла и стряпня возле печи – семьи, считай, не было: один за другим отошли на тот свет старики, чуть повзрослев, разлетелись дети, незаметно минуло все трудное и хорошее, что с ними связано. Остался один Петрок, а двум старым людям много ли надо? Чего-нибудь съесть да на бок, укрывшись вытертым кожушком, не хотелось топить на ночь грубку, хорошо было и так. Правда, была еще скотина: корова, поросенок в хлеве, десяток курей. Их надо кормить, поить, досмотреть. Тем почти и исчерпывались ее нехитрые домашние обязанности.

Рыжая молодая коровенка из выселковского стада начала отставать от других, и Степанида негромко прикрикнула на нее. Но та, по-видимому, не привыкнув к чужому голосу, не спешила догонять стадо. Спустившись с насыпи, Степанида прошла назад и подогнала корову. Когда же снова взобралась на большак,

неожиданно увидела, как со стороны соснячка кто-то бежит с такой прытью, что на спине пузырем вздувается рубашка. Немного, однако, вглядевшись, она узнала в бегущем Янку. Но почему он вернулся, почему не добежал до Выселок? Сквозь слезы от ветра она все вглядывалась в него, и что-то внутри у нее защемило – неосознаная еще тревога передалась ей от подростка.

Замерев, Степанида стояла на большаке, уже знала, что случилось плохое, только не понимала еще, что именно. Потом она не раз будет вспоминать это свое предчувствие и удивляться, как верно оно подсказало ей приближение того, что так внезапно перевернуло всю ее жизнь. Было только ощущение, близкое к страху, с которым она и встретила Янку. Немного не добежав до нее, тот бросился с насыпи к передней корове и, стегнув ее пугой, стал яростно заворачивать назад все стадо. Коровы сначала неохотно, а потом одна за другой бегом вдоль канавы припустили к опушке, а Янка что-то зычно непонятно кричал, то и дело взмахивая в воздухе пугой и указывая рукой назад. Лицо его исказилось от страха или удивления, и Степанида нерешительно, но тоже завернула свою Бобовку. Видно, там, в сосняке, появилась опасность, от которой надо спасаться, так поняла она испуг Янки и сама готова была испугаться.

Четверть часа спустя они загнали все стадо в заросли ольшаника на краю болотца, в стороне от дороги, и она подошла к Янке. Пастушок взглянул на нее новым, незнакомым ей взглядом и, гортанно выкрикивая, тревожно пытался объяснить что-то, все указывая рукой на большак.

– Что там? Что? – спрашивала Степанида, видя на обветренном веснушчатом лице Янки только испуг, недобро горевший также в его широко раскрытых глазах. Янка, однако, объяснялся лишь жестами, все указывая на кустарник, что-то обводил в воздухе руками и изображал на пальцах. Она же не могла понять ничего.

«Боже мой, это же надо родиться таким недотепой!» – впервые с досадой подумала она и вслушалась. Но в ольшанике было тихо, шумел в ветвях ветер, да какая-то корова, забравшись в заросли, трещала поодаль хворостом. С дороги же не было слышно ни звука, и Степанида решила сходить к сосняку.

– Ты попаси Бобовку. Ну попаси корову! Я схожу. Я скоро.

Янка лишь промычал нечленораздельно, замахал руками, не понимая ее или не соглашаясь, и она, выждав минуту, стала осторожно пробираться к дороге.

На большаке по-прежнему никого не было, как и возле сосняка. Она постояла немного, подумала и, не поднимаясь на насыпь, скорым шагом пошла вдоль канавы.

Она никак не могла взять в толк, что произошло с Янкой, хотя все время вглядывалась в дальний конец большака и раза четыре останавливалась, вслушиваясь и раздумывая. В Слободских Выселках тоже все было тихо, как и на картофельном косогоре возле ее хутора, навстречу дул порывистый ветер, и ей показалось, вот-вот из-за туч выглянет солнце. Но солнце так и не выглянуло. Она уже приближалась к сосняку, плотная чаща которого нешироко расступилась по обе стороны дороги, когда до ее настороженного слуха впервые донесся странный звук. Вроде бы далекий тяжелый удар за сосняком туго отдался в холодном ветреном воздухе, и ее пронзила догадка: мост! Да, что-то происходило по ту сторону рощи, невдалеке, за поворотом дороги, где с лета дыбились над рекой остатки разрушенного бомбежкой моста.

Степанида замедлила шаг, готовая остановиться, но не остановилась, а быстренько подбежала к опушке и, чтобы не идти по дороге, свернула в хвойную чащу.

Отсюда было рукой подать до хутора, она знала тут все прогалины и стежки, за много лет исхоженные ее ногами. Почти бегом, натыкаясь на колючие ветки, она миновала невысокий, поросший хвойным молодняком пригорок и осторожно выглянула с опушки на широкий луговой простор с невидной отсюда извилиной речки. От моста уже вовсю доносились голоса, грузно отдался в земле звук сброшенного с телеги бревна, она отвела от лица разлапистую сосновую ветку и замерла. На большаке возле моста у самой воды и на развороченной взрывом насыпи копошились люди: одни раскапывали землю, другие сгружали бревна с подвод, а на обрыве у искореженных свай и балок застыли несколько мужчин в незнакомой военной форме, с оружием за плечами. Один из них, в высокой, с широким козырьком фуражке, что-то указывал рукой по сторонам, другие молча слушали, озабоченно оглядывая остатки разрушенного моста, и она вдруг с неожиданным испугом поняла – это же немцы!

2

«Что теперь будет? Чего ждать от немцев? Где наши? – тоскливо думал Петрок. – И как жить дальше?»

Этих бередящих душу вопросов было великое множество, и, не найдя ответа хотя бы на один из них, нельзя было ответить на остальные. Напрасно было ломать голову, сокрушаться, пожалуй, ничего тут не придумаешь, придется принимать то, что уготовано тебе судьбой.

Но мысли все равно лезли в голову, было не по себе: неотвязная тоска, словно жук-короед, с начала войны точила душу, и заглушить ее не было возможности.

Однако нельзя сказать, чтоб на хуторе стало совсем плохо, чтобы переменилось что-либо под новой, немецкой властью. Напротив, почти все здесь оставалось по-прежнему: как всегда, одолевали осенние заботы о хлебе, была коровка, в хлевке подавал голос небольшой поросенок, бродили по двору куры. Был кое-какой приварок: свекла, капуста, картошка в огороде, в пуньке лежало в снопах три копы жита – со Степанидой нажали под осень на покинутом колхозном поле. На столе был хлеб, и даже побольше, чем когда-либо прежде, а картошки можно было накопать и еще – вон она на Голгофе за тыном, колхозная, значит, теперь ничья. Выселковские бабы, которые посмелее, тихо копали от дороги, не дожидаясь на то разрешения. Ему бы тоже не мешало подкопать каких пару мешочков в бурт, который он не мог завершить за неделю. Степанида велела сегодня окончить, вот приведет корову, снова не миновать перебранки. Но у Петрока не лежала душа к работе, голова была занята совсем другими заботами, он томился, без конца дымил самосадом и, словно больной, сидел на низкой скамеечке у порога или бесцельно бродил по двору. Внимание его, однако, ни на чем не задерживалось, вокруг все было привычно, знакомо до мелочей и воспринималось уже как часть его самого. Впрочем, оно и неудивительно: тут прожито им двадцать лет трудной, в лишениях и заботах жизни, которая вот начала сходить на нет клином, и другой уже не будет. Может бы, и дотянул эту самую, богом ему отпущенную жизнь если не в сытости, так хотя бы в покое. Если бы не война…

В последнее время после дождей у крыльца и под тыном сильно пошла в рост мурава, от нее всегда было мокро, и Петрок, выбирая места посуше, прошел вдоль завалины и остановился на середине двора. Много лет он был тут

хозяином, хорошо или худо, но правил усадьбой, а теперь стал глядеть на нее словно чужими глазами, словно он уезжает куда-то и ему предстоит расстаться с местом, где прошла его жизнь. Впрочем, если разобраться, то жалеть было не о чем. Хата давно уже была не новая, хотя дерево когда-то попалось хорошее – спелая смолистая сосна, бревна стен немного потрескались, но ни одно не сгнило. Хата еще постоит, может, послужит людям. Крышу в коньке надо бы залатать, возле дымохода с весны стало протекать, так же как и в истопке, что через сени под одной с хатой крышей. В истопке даже льет, в сильный дождь на глиняном полу образуется лужа, и Степанида бранится: за лето не собрался дыру заделать. Но действительно не собрался – не то, так другое, а главное, не очень хотелось тащить свои кости по шаткой стремянке на крышу, думалось: перестанет дождь – подсохнет и лужа. А то потревожишь гнилую солому, польет сильнее, чего же хотеть от постройки, которой под сотню годков, ставили, кажется, еще при панщине, а истопку и того раньше. Крыша на ней, сколько помнил Петрок, всегда зеленела под шапкой мха, в маленьком, на одну шибку, оконце блестело радужное от старости стекло.

Самая, может, справная здесь постройка – это новая пунька за хлевом, с виду самая малоприметная во дворе, наспех срубленная из тонких еловых верхушек, в стенах сплошь щели, но для пуньки сойдет и со щелями – ветерок в ней продувает, а дождь не мочит. Ставили ее вдвоем с Федькой, думалось, если не самому, так, может, сгодится сыну. Отслужит в армии, женится и продолжит род. Но где теперь Федька?.. А в пуньке ржаные снопы сохнут на ветру, ждут своего часа. Время от времени он снимет сверху два-три, обобьет в сенях на подстилке и смелет на жерновах. Степанида испечет пару буханок, и неделю они с хлебом.

Тоскливым взглядом Петрок окинул серый осенний простор, картофельное поле, протянувшееся до самого леса, подошел к колодцу. Внизу, в черном провале сруба, блестело пятно воды – теперь ее набиралось много, не то что летом. Вода в колодце была приятной на вкус, всегда холодная и чистая как слеза. Такой хорошей воды не было даже в Выселках, ни в одном из восьми колодцев. Рассказывали старики, в давние времена здесь пробивалась из-под земли веселая криничка, поэтому, наверно, возле нее и обосновалась усадьба панов Яхимовских – на пригорке, у глубокого, заросшего лесом оврага. Кто бы когда ни напился из колодца, всегда хвалил воду. Лет восемь назад вместо неуклюжего журавля Петрок поставил на сруб бревенчатый ворот с цепью и узенькой двухскатной крышей от дождя. Еще надо бы сделать крышку, чтобы не сыпалось что со двора, но он думал: обойдется и так. Что там насыплется? Разве вот ветром нанесет листвы с двух лип, которые осенью густо осыпают усадьбу. Липы

сильно разрослись за последние годы, и тень от них в летние месяцы накрывает едва ли не половину огорода. Степанида все требует – обруби, но у него не поднимается рука на такую красоту. Не он их сажал, сажали другие, липы росли здесь при всей его жизни, пусть остаются и после него.

Постояв возле колодца, Петрок посмотрел на большак за полем, где недавно еще виднелась Степанида с коровой, но теперь ни коровы, ни Степаниды там не было видно. Наверно, погнала в кустарник. Время еще было не позднее, до вечера часа два попасет, а потом свобода его кончится, придется приступать к работе: таскать из колодца воду, мыть поросенку картошку, толочь ячмень в ступе. Тогда уже не побудешь наедине с мыслями – Степанида не даст побездельничать.

Из потертого обрывка газеты Петрок свернул толстую, с палец, самокрутку, тщательно завязал кожаный кисет; прикуривать, однако, надо было идти в хату, искать уголек в печи. Где-то оставалось немного спичек, но Степанида их прятала, приберегая на крайний случай. В общем, она была права: где сейчас купишь спички? В местечке торговля свернулась, товар из двух лавок еще летом растаскали свои же, пока немецкая власть чухалась, ничего не осталось ни в сельпо, ни в сельмаге. Как-то он тоже ходил за добычей – Степанида погнала, – но не слишком разжился: из опрокинутой железной бочки за лавкой нацедил бутыль керосина со ржавой гущей на дне. Не бог весть какое добро, но придет осень, зима, понадобится. Хуже вот, что нет соли, а без нее много не съешь. Но разве теперь нет только соли?

Может, самое скверное, что нет лошади.

Петрок повернулся, чтобы отойти от колодца, и вдруг увидел за тыном корову. Бобовка быстро шагала напрямик по картошке почему-то со стороны леса, а не как всегда, по дороге, к воротам, за ней в распахнутом ватнике торопливо бежала Степанида. Весь вид жены выражал тревогу, испуг: платок с головы сбился на сторону, ветер трепал на лбу седую прядь волос. Петрок с недоумением уставился в ее распаренное лицо – было еще рано, Бобовку обычно пасли до вечера. Но, по-видимому, что-то случилось, и он подошел к воротцам и вытащил закрывавшую их жердь-поперечину.

– Петрок, немцы!

– Что?

– Немцы, говорю! Там, на большаке, мост строят…

– Мост?

Это была новость. Петрок такого не ожидал. Может, только сейчас он понял, как хорошо было тут без моста и какая опасность надвигалась из местечка вместе с этим мостом.

– Да, дрянь дело.

– Куда как дрянь! Наехало немцев, наши местечковцы с подводами, сгружают бревна. Надо что-то делать! А то приедут, оберут. Как тогда жить?

– Ну. Только что делать? – не мог сообразить Петрок.

– Хотя бы кое-что спрятать. Коровку в лес, может, если привязать… А поросенка…

Может быть, корову можно отвести в лес, привязать на веревку, но вот поросенка в лесу не привяжешь, поросенка надо кормить. Да и куры. Оно и небольшая ценность – десяток курей, но и без них невозможно в хозяйстве. Что было делать, куда прятать все это?

– Я за поросенка боюсь, – устало сказала Степанида, поправляя на голове платок. – Ведь заберут. А он такой ладный.

– На сало они охотники: матка – шпэк, матка – яйка! – сказал Петрок, еще с той войны наслышанный о немцах.

– Я так думаю, надо припрятать. Ты иди сюда, – позвала она мужа в глубину двора.

Они обошли истопку, за углом которой была дровокольня с невысокой поленницей дров под стеной и старой колодой на земле, перелезли через жердь в огород. Тут за обвялыми лопухами и спутанными зарослями крапивы под низко

нависшей крышей истопки приткнулся неказистый дощатый засторонок. Сарайчик этот издавна стоял пустой, без надобности, в него сваливали разный хозяйственный хлам и редко заглядывали, разве что за яйцами. Возле двери в соломе иногда неслись куры и теперь лежало два желтых несвежих подклада.

– А если его сюда? – сказала Степанида, шире растворяя низкую дверь засторонка. – Он же тихий, будет сидеть. Авось не найдут.

Найдут или нет, кто знает, но Петрок за совместную жизнь привык слушать жену, она была неглупая баба, а главное, всегда твердо знала, чего хотела. И, хотя забота о поросенке была теперь не самой большой у Петрока, он послушно взялся за устройство нового убежища. Прежде всего повытаскивал из засторонка в беспорядке набитый туда многолетний хлам: какие-то сухие палки, старое, обгрызенное свиньями корыто, поломанное, без спиц колесо от телеги, давнюю, может, дедовскую еще соху со ржавыми лемехами. Спустя полчаса ломаным ящиком и палками кое-как отгородил небольшой закуток, принес из пуньки соломы, не ровняя ее, чтобы меньше было заметно, напихал в отгородку. Степанида тем временем, почесывая за ушами подросшего за лето поросенка, тихонько привела его из хлевка.

– Вот сюда… Теперь сюда. Вот молодец…

«Как малого», – подумал Петрок, пропуская внутрь будки поросенка, который, тихо подавая голос, доверчиво обнюхал порожек, солому и удовлетворенно устроился в своем катухе, вовсе не подозревая о нависшей над ним опасности. В самом деле, это был упитанный спокойный поросенок, и им очень не хотелось лишиться его. Может, еще и уцелеет, если будет иметь свой, хотя бы небольшой, свинячий разум, не заверещит при посторонних, думал Петрок.

– Ну вот, – спокойнее сказала Степанида. – Все скрытнее будет. Пусть сидит там.

Они вернулись во двор, где с тревожным ожиданием в печальных глазах стояла Бобовка, возле ее ног бродили две курицы.

– А как же куры? – спросил Петрок.

Их тоже следовало прибрать куда-нибудь подальше с глаз, но куда спрячешь дурную курицу? Тихо она не может, а, снеся яйцо, радостно закудахчет на всю

околицу и тем погубит себя. Но что там куры, куда больших забот требовала корова, как бы на нее первую и не обрушилась беда.

– Корову, может, в Берестовку отвести? К Маньке? Все же дальше от местечка, – неуверенно предложил Петрок. Но Степанида тут же возразила:

– Ну, не. Бобовку я в чужие руки не отдам.

– Как же тогда?

– В Бараний Лог. На веревку или спутать. Пусть ходит.

– А ночью?

– А ночью, может, не приедут. Они же днем больше шарят.

Слабая это была надежда на ночь, но иного, видать, не придумаешь, и Петрок молча согласился.

Осенний день незаметно близился к вечеру, понемногу смеркалось, хотя во дворе и поблизости в поле еще было светло. Встревоженная Степанида не торопилась доить Бобовку, та постояла, вздохнула и, не дождавшись хозяйки, начала щипать траву под тыном, добирать недоеденное в поле. Петрок то и дело с опаской поглядывал за ворота да на большак, ждал, когда покажутся немцы. И все слушал, стараясь в вечерней тиши поймать чужой подозрительный звук. Но, как и всегда, на дорожке и на большаке было пусто, вокруг в понуром осеннем просторе воцарялась вечерняя тишина. Только ветер неутомимо теребил на липах пожелтевшую листву, щедро усыпая ею огород, дорожку, траву-муравy на дворе. Петрок вытащил ведерко воды из колодца и поставил перед Бобовкой. Но та лишь обмакнула губы и не пила, почему-то поглядывая через тын в поле, будто ожидая оттуда чего-то. Надо было загонять ее в хлев, но Степанида задержалась в хате, и Петрок позвал:

– Слышь? Доить надо.

Степанида молчала, и он подумал, что действительно в Яхимовщине что-то круто менялось, если хозяйка опаздывала доить корову. Но теперь все и везде

менялось, следовало ли удивляться переменам на хуторе, философски утешал себя Петрок. Не дождавшись ответа Степаниды, он ступил на плоский припорожный камень и заглянул в сени. Степанида, нагнувшись, стояла над синим сундуком, что-то искала там, бросила на хлебную дежку какую-то кофту, еще одну, встряхнула большой черный платок с красными цветами. Петрок удивился:

– Что ты там ищешь?

– А тут это… Фенькино, чтоб спрятать куда подальше.

– Фенькино? Не выдумывай ты! Кому оно нужно?

– Кому? Немцам! – огрызнулась жена, перебирая в сундуке. – А это вот? Что с ней делать?

Она развернула тонкую бумажную трубочку, взглянув на которую он сразу узнал предмет давней Степанидиной гордости – грамоту за успехи в обработке льна. Сверху на плотном листе бумаги виднелся цветной герб Белоруссии, а внизу синели печать и размашистая подпись председателя ЦИКа Червякова. Грамота до войны висела в простенке между окнами, потом ее сняли, хотели сжечь, но Степанида не дала, прибрала в сундук.

– Ты это в печь! – встревожился Петрок. – Это тебе не игрушка.

– А, пусть лежит. Не за краденое. За старание мое.

Степанида свернула грамоту трубочкой и завернула в какую-то одежку. Из остального отобрала в сундуке что получше, большею частью Фенькино, и большим узлом завязала в цветастый платок.

– Надо спрятать. Может, в бурт с картошкой?

– Сгниет. Да и напрасно ты это. Немцы, они больше по съестной части. Тряпки они не тронут. Я знаю.

– Много ты знаешь! – усомнилась Степанида. – Как бы с твоим знанием голыми не остаться.

– Ничего, как-нибудь, – сказал Петрок. – Мы перед ними вины не имеем. А коли к ним по-хорошему, то, может, и они… Не съедят, может…

Он говорил, подбадривая себя и успокаивая жену, хотя сам не меньше ее сомневался: так ли это? Знал и чувствовал только, что надо как-то переждать лихое время, затаиться, притихнуть, а там, глядишь, изменится что к лучшему. Не вечно же длиться этой войне. Но чтобы остеречься беды, надо вести себя как можно осмотрительнее и тише. Это как перед злой кусливой собакой: надо пройти мимо, не показывая страха, делая вид, что ты вовсе ее не боишься, но и не дай бог зацепить ее. Если он фашистов не зацепит, неужели же они без причины будут к нему вязаться? Разве он какой-нибудь начальник, или партийный, или хотя бы еврей из местечка? Слава богу, он здешний, крещенный в христианскую веру, колхозник, такой, как все в округе. А что сын в Красной Армии, так разве это по его доброй воле? Это же служба. Так было при царе и еще раньше. Служили многие из деревни, правда, самому Петроку не пришлось – подвело здоровье. Вся его жизнь протекла тут, на глазах у людей, за что же к нему можно было придраться?

3

Кое-как управившись со скотом, они наскоро похлебали остывшего в печи супа и легли спать – он на кровати за шкафом, а она в запечье. Пока всюду было глухо и тихо, и эта тишина вместе с привычностью вечерних хлопот несколько уняла тревогу. Петрок невнятной скороговоркой пробубнил «Отче наш», чего этой осенью он давно уже не делал, и со вздохом перекрестился, надеясь, что, может, еще и обойдется. Приехали и поедут дальше, что им тут долго делать, на этом большаке? Может, они для того только и чинят мост, чтобы куда-то проехать, зачем им какой-то хутор на отшибе от дороги? Фронт откатился черт знает куда, ходили слухи, что немцы взяли Москву, но непохоже было, чтобы на том война кончилась, она продолжается где-то, страшная эта война. Может, уже в Сибири? А может, брехня все это про Москву, поди, Москву им не взять. Мало что зашли далеко, но ведь и Наполеон зашел далеко, да подавился. Не так просто проглотить такой кусище России даже с такой пастью, как у этого

Гитлера. Небось тоже подавится.

Петрок и так и этак поворочался на своем сенничке, повздыхал, услышал, что Степанида тоже ворочается в запечье, и тихо спросил:

– Баба, не спишь?

– Сплю. Почему же нет, – неохотно отозвалась Степанида и смолкла.

– А я так думаю, может, напрасно боимся? Зачем мы им? Как приехали, так и уедут.

– Если бы! А то вон из местечка не вылезают. Учитель этот да Подобед из сельпо до сих пор на веревках качаются.

– Ай, не говори такое напротив ночи. Не дай бог! – отмахнулся Петрок, уже пожалев, что начал этот разговор с женой.

Больше они не переговаривались, и Петрока мало-помалу сморил тревожный неглубокий сон, не приносящий ни отдыха, ни успокоения. Ему долго снились какие-то черви – целый клубок мелких, будто мясных червей, которые ползали, шевелились, кишели, свивались возле его ног. Петроку стало противно, даже почему-то страшно, и он проснулся. Сразу понял, что еще рано, еще не кричали петухи в Выселках, в тишине хаты звучно тикали ходики, но не хотелось вставать, смотреть время, и он продолжал лежать неподвижно, пытаясь заснуть или дождаться рассвета. Думы его были все о том же: как жить на свете, в котором так неожиданно и без остатка рухнули прежние порядки, на что опереться, чтобы удержаться в этой трудной, тревожной жизни! Думал о сыне Федоре, которого, наверно, уже нет в живых – такая война и столько погибло народу. Да и про Феню тоже. С весны от девчонки не было никаких известий, ждали на каникулы домой, но она так и пропала в Минске. Может, ушла на восток и теперь где-либо за фронтом, все-таки училась на докторшу, там теперь такие нужны. Это было бы самое лучшее, лишь бы не попала к немцам. А если не остереглась от них в городе или по дороге домой?.. Страшно было подумать, что в такое время могло случиться с девчонкой.

Под утро он все же уснул ненадолго и проснулся, заслышав Степанидины шаги по хате. Начинался новый тревожный день, в запотевших с ночи окнах серел

ненастный рассвет. Одетая в ватник Степанида отодвинула занавеску возле кровати.

– Ты бурт окончи. А то без картошки останемся. И поросенка накорми. Ну, я погнала…

Она вышла во двор, и вскоре ее шаги прошуршали возле истопки, потом послышался топот коровьих ног во дворе. Видно, погнала Бобовку в Бараний Лог, ясное дело, там, в стороне от большака, будет спокойнее.

Петрок начал неохотно вставать: свесил с кровати босые, в подштанниках ноги, посидел так, размышляя, закурить теперь или сначала надеть штаны. Курить очень хотелось с ночи. В хате было прохладно. Степанида не топила печь – спешила пораньше выбраться с Бобовкой, – теперь ему до полдня хозяйничать в одиночестве. В одиночестве оно и неплохо, главное, можно никуда не спешить, незавершенный в конце огорода картофельный бурт, наверно, еще подождет: погода стояла дождливая, непохоже, чтобы вдруг повернуло на заморозки. Натянув штаны, Петрок сунул ноги в опорки, набросил кожушок на плечи. Первым делом достал из-за дымохода пару листов самосада и принялся крошить на уголке стола. Это была самая милая его сердцу работа – готовить курево на день, острый кончик ножа легко резал подвяленный желтый лист, источавший приятный щекочущий в носу запах, и Петрок в предвкушении привычного наслаждения с короткой живостью глянул в окно.

Нет, на дороге, ведущей от хутора к большаку, было пусто, никого не видно и возле сосняка, а вот по дороге из Выселок, показалось, кто-то идет. С ножом в руке Петрок потянулся к окну, заглянул выше. Сквозь запотевшее стекло стали видны две далекие человеческие фигуры, которые скорым шагом приближались к повороту на хутор.

Он постоял, вглядываясь, пока внезапная догадка не осенила его – это же выселковские полицаи. Да, это были Гуж с Колонденком. В новой полицейской должности Петрок их видел впервые, но слышал от людей, что те только и шныряют по Выселкам, местечку, наведываясь в окрестные деревни и хутора, – утверждают немецкую власть. Теперь они направлялись сюда – рослый плечистый Гуж и моложавый Колонденок, с лица будто подросток, оба с винтовками за плечами, с белыми повязками на рукавах. Они приближались к повороту, и у Петрока затеплилась слабенькая надежда, что, может, повернут на большак и пойдут себе дальше. Но он, конечно, ошибся. Полицаи обошли

лужу на повороте и по узенькой, заросшей травой дорожке направились к его хутору.

Петрок торопливо надел в рукава кожушок, растворил дверь в сени. Потом, еще не зная, что делать, но уже предчувствуя скверное, тщательно прикрыл ее за собой и через окно у порога стал наблюдать за полицаями. По мере их приближения он, однако, становился спокойнее. Да и чего было бояться, никакой вины за собой он не чувствовал, а Гуж даже приходился ему какой-то дальней родней по деду, когда-то на базаре в местечке даже вместе выпивали в компании. Но с начала коллективизации Петрок с ним не виделся и встречаться не имел никакого желания. Однако ж придется…

Полицаи вскоре миновали ворота под липами и прошли во двор. Цепкий взгляд Гужа метнулся по дровокольне, хлеву и остановился на входе в сени. Наверное, надо было отзываться, хотя и не хотелось, и Петрок, выйдя в сени, нерешительно замер возле скамьи с ведром. Только когда чужая рука зазвякала снаружи клямкой, отворил двери.

– А-а, во где он прячется! – вроде шутливо прогудел Гуж и, нагнув голову, переступил порог. – А я гляжу, во дворе не видать. День добрый!

– Добрый день, – запавшим голосом ответил Петрок. – Так это… Жду вот.

– Кого ждешь? Гостей? Ну, встречай!

– Ага, заходите, – с фальшивым радушием спохватился Петрок и шире растворил дверь в хату. Шурша потертой кожаной курткой, Гуж с винтовкой в руках переступил порог, за ним направился туго подпоясанный ремнем по серой шинели долговязый Колонденок. Войдя следом, Петрок притворил дверь, выдвинул на середину хаты скамью. Но гости не сели. Колонденок, словно на страже, вытянулся у входа, а Гуж неторопливо протопал в тяжелых сапогах к столу и обратно, по очереди заглядывая в каждое из окон.

– Как на курорте! – пробасил он. – И лес и река. И местечко под боком. Ага?

– Близко, ага, – согласился Петрок, уныло соображая, какой черт их принес сюда в такую рань. Что им надо? Он не предлагал другой раз садиться, думал, может, что скажут и уйдут.

Но, кажется, идти они не намеревались.

Оглядев темные углы и оклеенные газетами стены хаты, Гуж продолжительным взглядом повел по образам, будто сосчитал их, и расстегнул на груди несколько пуговиц своей рыжей тесноватой кожанки.

– Тепло, однако, у тебя.

– Так это… Еще не топили.

– Значит, теплая хата. Это хорошо. Надо раздеться, не возражаешь?

Петрок, разумеется, не возражал, и Гуж, покряхтывая, стащил с тугих плеч чужую кожанку, повесил на гвоздь возле висевшей в простенке Петроковой скрипки. Ремнем с желтой военной пряжкой начал подпоясывать вылинявшую до желтизны красноармейскую гимнастерку.

– Все играешь? – кивнул он на скрипку.

– Где там! Не до музыки, – вздохнул Петрок. В самом деле, когда было играть – с некоторых пор в душе его звучала совсем другая, не скрипичная музыка. Но он не стал что-либо объяснять, только подумал с сожалением, что скрипку надо бы прибрать подальше от чужого глаза.

– Помню, как на свадьбе когда-то наяривали. В Выселках. Ты на скрипке, а Ярмаш на бубне.

– Когда то было…

– А было! – сказал Гуж и полез за стол в угол. Длинную свою винтовку положил на скамью рядом. Колонденок, не раздеваясь, с винтовкой в руках присел на пороге. – Ну, угощай, хозяин! – холодным взглядом из-под колючих бровей Гуж уставился на Петрока. – Ставь пол-литра. А как же!

– Ге, если бы оно было! – вроде бы даже обрадовался Петрок. – Закусить можно, конечно, а водки нет, так что…

– Плохо, значит, живешь, Богатька. И при Советах не богател…

– Не богател, нет…

– И при германской власти не хочешь. А мы не так. Мы вот кое-что имеем.

Вытянув под столом толстую в сапоге ногу, Гуж вынул из кармана черных галифе светлую бутылку.

– Вот, чистая московская! – и, громко пристукнув, с показной гордостью утвердил ее на столе.

Далее тянуть было невозможно, проклиная про себя все на свете, Петрок пошел к посуднику за хлебом, вспомнил, что надо бы поискать яиц в истопке, там же было еще немного огурцов в бочке. Ну и сало, конечно, в кадке. Он заметался, стараясь проворнее собрать на стол, чтобы скорее освободиться от полицаев, положил на стол начатую буханку хлеба, но не мог найти нож, который только держал в руках, где он запропастился? Не дождавшись хозяйского, Гуж вытащил из-за голенища свой – широкий, с загнутым концом кинжал и легко отвалил от буханки два толстых ломтя.

– А где же твоя активистка? – вроде между прочим спросил полицай и прищурился в ожидании ответа. – Не в колхозе же вкалывает?

– Да с коровой, знаете, пошла.

– А, значит, корову держишь? А прибедняешься.

– Да я ничего. Как все, знаете…

– А кто картошку выбирать будет?

– Какую картошку?

– Колхозную! Вон на Голгофе. Советская власть хряпнулась, но колхозы ни-ни! Гитлер приказал: колхозы сохраняются. Так что картофелеуборка. Ну и картофелесдача, конечно. Как до войны, ха-ха! – коротко засмеялся полицай.

Это Петрок уже слышал, хотя сначала не очень верилось, что немцы допустят колхозы. Думал, может, будут расправляться с колхозниками, а они вон что! Ради картошки, наверно. Так им удобнее.

– Я, знаете, отработал свое. Пусть помоложе которые, – слабо попытался отказаться Петрок. – Которые поздоровше.

– А кто это нездоровый? Ты? Или, может, баба? Та до войны вон как старалась. Вкалывала за троих, про хворобу не заикалась. На слете выступала, как же, передовая льноводка!

– Какая там льноводка! – тихо сказал Петрок, пытаясь как-то отвести многозначительный намек полицая, и поставил на стол чистый стакан. – Последнее время его мало и сеяли, льна того.

– Сколько ни сеяли! А она старалась. Люди запомнили. А теперь прихворнула…

Петроку надо было в истопку за огурцами и салом, но на пороге сидел белобрысый Колонденок и с кислым выражением прыщавого лица глядел в сторону. Этот явный подкоп полицаев под его Степаниду очень не понравился Петроку, и он подумал: не для того ли они сюда и пожаловали?

– Сказали, ну и выступала. Куда же денешься.

– Сказали, говоришь? А если теперь немецкая власть другое скажет? Как тогда вы?

– А мы что? – передернул Петрок плечами. – Как все, так и мы.

Гуж удобнее устроился за столом, взглянул в окно и широким хозяйским жестом сгреб со стола бутылку.

– Ну а сало у тебя найдется?

– Сейчас, сейчас, – повернулся к двери Петрок и сразу же наткнулся на Колонденка, который не сдвинулся с места.

– Пропустить! – ровным голосом сказал Гуж, и только тогда Колонденок подвинулся с порога, пропуская Петрока в дверь.

Чтобы было светлее, Петрок настежь растворил сени, истопку, нащупал в кадке слежавшийся в соли кусок сала. Он уже понял, что это посещение хутора полицаями не случайно, тут есть определенная цель, вскоре, наверное, все выяснится. Но только бы не сунулась сюда Степанида, как бы дать знать ей, какие тут гости, лихорадочно думал он, торопливо неся угощение в хату.

– Это другое дело! – удовлетворенно сказал Гуж. Полицай уже выпил водку, стакан был пустой, одутловатое лицо его еще кривилось от выпитого, и он сразу принялся нарезать сало. – Так, теперь твоя очередь. Все-таки хозяин. Хозяев немцы уважают. Не то что при Советской власти…

– Да нет, я знаете, не очень того…

– Это ты брось! – прикрикнул на него Гуж и, взболтнув бутылку, налил больше половины стакана. – Пей! За победу.

– Ну, разве за победу, – уныло согласился Петрок, беря из его рук стакан.

– Твой-то сын где? В Красной Армии будто? Сталина защищает?

– Ну, в армии. Солдат, так что…

– Так что за победу! Над большевиками, – уточнил Гуж.

Проклиная про себя все на свете и прежде всего этого мордастого гостя, Петрок почти с отвращением вытянул водку из стакана.

– Вот это дело! – одобрил полицай. – Теперь на, закуси.

Гуж держал себя за столом по-хозяйски, а Петрок незаметно как-то превратился из хозяина в гостя, не больше. Конечно, он был напуган этим внезапным приходом полиции, встревожен недобрыми намеками Гужа и боялся, как бы все это не кончилось худо. Однако, может, и хорошо, что не отказался выпить, водка постепенно притупила испуг, и растерянность его стала проходить. Он уже

осваивался в роли собутыльника, раз уж его лишили роли хозяина, боком присел к столу и жевал корку хлеба. Гуж тем временем, будто жерновами, широкими челюстями перемалывая хлеб с салом, опять наполнил стакан.

– Хорошее дело можно и повторить. Правда, Богатька?

– Правда, наверное. Первая чарка, она – как синичка, а вторая – как ласточка, – словоохотливо подхватил Петрок. – А это… товарищу? – кивнул он на Колонденка у порога.

– Обойдется, – пробасил Гуж. – Он непьющий. Ты же, правда, Потап, непьющий?

– Непьющий, – тонким голосом ответил Колонденок, и все в хате притихли вслушиваясь. Со двора донеслись звуки шагов, возле хлевка громко закудахтала курица.

– А ну! – кивнул Гуж помощнику, не выпуская из рук стакана. Колонденок выскочил в сени, но скоро вернулся.

– Тетка пришла.

Петрока передернуло от досады, он не на шутку испугался за Степаниду. Зачем она притащилась? Надо бы как-то предупредить ее, чтобы не заходила в хату, но Петрок влез в эту пьянку, и теперь, видно, уже поздно.

– Я это… Скажу, чтоб закуски какой. – Он приподнялся, пытаясь выйти из-за стола. Но Гуж решительным движением руки посадил его обратно.

– Сиди! Сама даст, не слепая.

Действительно, вскоре отворилась дверь из сеней, и Степанида на мгновение замерла на пороге, наверно, не сразу узнав чужих в хате.

– Заходи, заходи! – жуя закуску, по-хозяйски пригласил Гуж. – Не стесняйся, ха-ха! Поди, не стеснительная?

– Здравствуйте, – тихо поздоровалась Степанида и переступила порог. «Ну, сейчас возьмут!» – со страхом подумал Петрок, искоса поглядывая на Гужа. Но тот, казалось, не обращая внимания на хозяйку, отворотил еще один ломоть хлеба от буханки и вместе с салом протянул Колонденку.

– Закуси, Потап.

С сонным безразличием на лице Колонденок приподнялся с порога и взял угощение.

– Пьете, а там немцы по мосту ходят, – сказала Степанида с легким укором, больше, чтобы нарушить неловкую тишину в хате.

– Правильно, ходят, – согласился Гуж. – Еще пару дней, и будут ездить. Германская деловитость!

– А зачем им тут ездить? Что у них, в Германии своих дорог недохват? – недобро прижмурилась Степанида. Гуж испытующе посмотрел на нее и, будто еж, недовольно фыркнул.

– Очень ты умная, гляжу! Недаром активисткой была. Не отреклась еще?

– А от чего это мне отрекаться? Я не злодейка какая. Пусть злодеи от своего отрекаются.

– Намекаешь? На кого намекаешь? – насторожился Гуж.

– На некоторых. Которые сегодня одни, а завтра другие!

«Да замолчи ты, баба! – мысленно внушал ей Петрок. – Чего ты заедаешься? Разве не видишь, кто перед тобой?»

Видно, Степанида и еще хотела что-то сказать, но остановилась и только метнула злым взглядом в сторону Гужа, потом таким же на Петрока и Колонденка. Однако и одного взгляда для Гужа оказалось достаточно, и он угрожающе привстал за столом.

– Ты где шляешься? Что на дорогах высматриваешь? Почему ты со двора, когда гости в дом?

– Я корову пасла. Вон же хозяин в хате.

– Что он могет, хозяин твой? Он и курицу не пощупает! А нам закусь требуется.

– Еще чего?

– Закусь, говорю, хорошая. Как для представителей немецкой власти!

– Давно вы такие представители? – вспыхнула Степанида, и Петрок почувствовал, что сейчас случится непоправимое.

– Баба, молчи! – крикнул он с напускной строгостью. – Жарь яишню! Слыхала мой приказ?

Гуж одобрительно заржал за столом, а Степанида молча повернулась и вышла в сени. Дверь за ней осталась раскрытой, и Колонденок затворил ее, оставаясь все там же, у порога. Гуж, однако, быстро согнал с лица улыбку.

– Вон какая она, твоя баба! Знаешь, что немцы с такими делают?

– Ну, слыхал. Только это…

– Вешают! На телеграфных столбах! – Гуж пристукнул увесистым кулаком по столу. Почувствовав, как холодеет внутри, Петрок весь сжался, втянул голову в плечи. – Немцы с такими не чикаются. И мы не будем! Повесим с десяток, чтоб другим неповадно было, – гремел Гуж.

– Да она так, она не со зла, – слабо попытался оправдать Петрок Степаниду.

– А с чего же тогда? С доброты, скажешь? Коммунистка она, – вдруг заключил Гуж.

– Да нет. Она языком только.

– Во-во, языкастая! Язык – что весло. Не вырвали еще? Так вырвут!

Петрок мучительно соображал, что сказать, как защитить жену, которую очень просто могли погубить эти двое. Он знал, что сама она не побережется, скорее наоборот. Особенно если разозлится, то никому не уступит, будь перед ней хоть сам господь бог. Гуж, видно, тоже почувствовал это и вдруг перевел разговор на другое:

– Ты это… вот что. Скажи мне спасибо. Если бы не я, ты бы уже давно вдовым стал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/bykov_vasiliy/znak-bedy

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить